

Эпизоды гражданской войны («Летучий Осип»), деятельность партизанских отрядов («Вражья сила»), новый деревенский быт («Райпросвет и Гришка»),—все это разворачивает в дробных очерках огромную революционную эпопею новой деревни.

Рассказы Касаткина отличаются простотой композиции. Драма отдельного героя служит им обычно сюжетным стержнем. Фабула не уклоняется в авантюризм и не ищет архитектурных эффектов. Совершенное и изображение действительности в авторе «Деревенских рассказов» господствует над комбинированием различных элементов беллетристической интриги.

Эта композиционная сдержанность искупается изобразительной силой живописи и энергичной выразительностью языка. «Караванные мачты вытянулись остриями к ясному впрозелень месяцу, и в осиястке мачт, как в струнах, запутались звезды»... Или: «Весна началась сразу, вдруг, как шапкой накрыла... На пригорках муравей так и прыснула щеточкой. Но в лощинах еще грязь, жиделяга, из грядок на огороде ногу не вытащишь, гумно взбухло пирогом...». Такие свежие, красочные, почти осязательные картины служат автору фоном для изображения личных драм и широкого развертывания эпизодов современного деревенского эпоса.

Язык книги написан отзвуками народной речи и живет подлинными отголосками крестьянского говора. Недаром в рассказе «Осенний ветер» с такой любовью изображен «первый в уезде прибауточник», который «ладит сказать всегда в рифму». В частности, здесь собрано немало материалов для изучения языка эпохи гражданской войны («броневик—по-нашему жук» и проч.).

Зоркость взгляда, уверенность и четкость рисунка, психологическая проникновенность рассказа, крепкая органическая связанность автора с изображаемым бытом, глубокое ощущение революционных брожений крестьянства и—главное—любимое изображение этих новых ростков молодой, бодрой и бурно растущей жизни,—таковы основные свойства беллетристической манеры Ив. Касаткина. Л. Г.

М. Горький. Воспоминания. Заметки из дневника.

Verlag Kniga M. V. N. Berlin 1924 г.
Стр. 213.

М. Горький характеризует походку Блока: «Походка его на первый взгляд кажется твердой, но, присмотревшись, видишь, что он нерешительно качается на ногах». Этим Горький хочет сказать о раздвоенности Блока, о его горе от ума, о неизбежных, огромных муках поэта «незабываемых лет», поэта переходного времени. И несомненно, что Горький правильно ухватил существо Блока, его раздвоенность; ибо Блок был распят меж двух эпох—меж «Прекрасной дамой» и «Двенадцатью». И не потому ли Блок, несмотря на всю инакость его мировоззрения,—все-таки был Горькому «очень понятным и близким?». Не в том ли глубинная, органическая причина этой близости, что и Горький тоже фактически раздвоен: раздвоен и как художник, и как человек?

И нам кажется, что об этой раздвоенности с особой отчетливостью говорит рецензируемая книга—эти «заметки из дневника», «воспоминания», эта—творческая мастерская писателя.

В книге 30 отрывков с самостоятельными названиями,—30 как бы отдельных рассказов с послесловием. Но самостоятельных эпизодов, типов, набросков в этой книге гораздо больше. Правда, часто эти типы, эпизоды, сцены даны лишь мельком, эскизно, несколькими словами, но от этого, обыкновенно, их ценность не уменьшается. Горький остается большим, интереснейшим художником даже в набросках, даже в отрывистой, недоработанной еще, незаконченной вполне прозе; ибо он умеет и имеет, что сказать и поэтому его книга, независимо от биографической и творчески-психологической ценности остается большой художественной ценностью. «Новый Горький»—вторая, великодушная его молодость—налицо.

Но эта вторая молодость, этот второй расцвет не сопровождается уже той здоровой, яркой, бодрой удивительной верой в силы, в победу, какой отличался ранний Горький. Человек перестал звучать гордо, бу-

р-вестник перестал радоваться буре. И в этом усталом безверии—центр, самое существенное в новом Горьком.

Три мотива, три основных идеи проходят через все эпизоды, запечатленные Горьким. Роковым образом он ухватывает их в каждом явлении, в каждом русском человеке, во всей России... Это—темнота и грязь русской жизни, зоологические инстинкты русского человека и, как следствие отсюда, человеческая тоска, беспутье, часто переходящие в богоискательство.

Можно было бы подумать, что Горький нарочно подобрал удивительный человеческий зверинец, искусно выволок перед читательским взором из бесчисленного количества наблюденных им жизней самое дикое и скверное, что видел и знал. И в самом деле, свыше, чем 200 стр. посвящены воспоминаниям о России, о русских людях, и с первого взгляда, перед нами как будто все разновидности человеческой природы: дураки и умные, добряки и жестокие тупицы, тихие и бунтовщики. Но так кажется только с первого взгляда. Скоро с какой-то непонятной и роковой необходимостью все хорошее исчезнет, оно окажется миражем: из тихого, скромного «учителя чистописания» покажет свое лицо скрытый убийца (отрывок «Учитель чистописания»); лучший народолюбец, какого, по собственным уверениям, Горький только видел,—окажется идиотом, основывающим свое народолюбие на исследовании человеческих экскрементов (отрывок «Ветеринар»); добрые, человеческие нравы извозчика Меркулова и банщика Прохорова («Испытатели») оголят свои зоологические инстинкты убийцы (Меркулов) и вора (Прохоров); наконец, подлинно добрые, любящие, энергичные люди окажутся невыразимо темными («Знахарка»), или опустошенными и, следовательно, энергичными лишь по инерции, или по недоразумению (Н. А. Бугров) и т. д.

А рядом с этими, как будто уже положительными типами, сколько невыразимо тупых, неизбежно-жесточких, сугубо-темных людей! Людей-зверей по природе: убийц («Палач», «Герой», «Из письма»), поджигателей

(«Пожары»), жестоких тупиц, идиотических фанатиков, лгунов, хитрецов и т. п. («Шмит», «Паук», «Пастух», «Смешное», «Мечта» и т. д., и т. д.). Подлинно-жесточкая книга! Подлинно-ужасная, темная, грубая, азиатская Россия! И только две небольшие заметки, только позторы странички из 213 говорят о чем-то светлом, о каких-то иных людях: «Митя Павлов»,—рабочий, безымянный герой 1905 г. и рабочий Скороходов. Но эти две заметки грустно тонут во всем остальном, подвешивающем и жестоком материале.

Ибо Горький почему-то (действительно так-ли?) убедился, что: «...Зачем нужен город этот и люди, населяющие его? Я думаю, что нет страны, где люди говорили бы так много, думали бы так бессвязно, беспутно, как говорят и думают в России... Подсматриваю я за этими людьми и мне кажется, что прежде всего они живут глупо, а потому уже—и поэтому—грязно, скучно, озлобленно и преступно» (стр. 12).

И здесь именно выплывает, вскрывается та мучительная раздвоенность Горького, о которой мы говорили выше.

Горький уверен, что Россия—темная, грубая, преступная, злая,—но... но «он не вполне определенно чувствует: хочется ли ему, чтобы эти люди стали иными» (1). «Я вижу русский народ исключительно, фантастически талантливым, своеобразным. Даже дураки в России глупы оригинально, на свой лад, а гении—положительно гениальны» (2) (стр. 212).

Дальше Горький рисует преступную, дикую, азиатскую Россию—и только (что могут исправить выше-приведенные строки лирического наплевания?). Но если бы он был вполне последовательным, он бы этого не сделал; ибо, ведь, Горький сам говорит: «На мой взгляд, правда не вся и не так нужна людям, как об этом думают. Когда я чувствовал, что та или иная правда только жестоко бьет по душе, а ничему не учит, только унижает человека, а не объясняет мне его, я, разумеется, считал лучшим не писать об этой правде» (стр. 212).

К сожалению, в «Воспоминаниях» Горький отступил от этого своего

основного и, несомненно, прекрасного принципа: он «жестоко бьет по душе», но совершенно ничему не «учит», не дает, не показывает никакого пути.

И здесь опять—непоследовательность, раздвоенность.

И, наконец, последнее: зачем вдруг Горькому, чуждому «национализма, патриотизма и прочих болезней духовного зрения»,—зачем ему вдруг понадобилось возводить русскую тупость, лень, глупость—в дарование, в гениальность? Эти милые качества к сожалению, интернациональны, и с ними надо всегда, всюду и беспощадно бороться. И мы знаем и чувствуем «вполне определенно», что темным русским крестьянам необходимо стать «иными»; и мы думаем, что здесь именно—еще одно, последнее, самое, может, глубокое противоречие М. Горького: его ум тянется к марксизму, к европейской цивилизации, к последнему слову науки. Но где-то далеко, в глубине души, еще тлеет, еще вспыхивает старое, идущее от славянофилов: скорбный и умиленный патриотизм, свойственный мещанину с «нерешительно качающейся походкой».

И. Веров.

Владимир Маяковский. «Владимир Ильич Ленин», поэма, стр. 95. «Только новое», стихи, стр. 55. ГИЗ. 1925 г.

Из всего, что имеет русская поэзия о Ленине, поэма Маяковского безусловно наиболее значительная вещь. Автор вполне справился со своей задачей. Сознательно, как прием, он ввел в поэзию публицистику и художественно ее оправдал. Ильич чувствуется в поэме всегда, во всех событиях; небольшой штрих, зарисовка подробностей—и перед читателем встает во весь рост тот, кто:

«как вы
и я,
совсем такой же,
только, может быть,
у самых глаз
мысли больше нашего
морщият кожей,
и тверже губы,
чем у нас».

Поэт недаром посвятил свою вещь Российской Коммунистической

Партии, писал ее «по мандату долга»: каждая строчка убедительно говорит о том, что ему действительно удалось «причаститься к великому чувству по имени класс», слиться с теми, в «которых Ильич» и «о которых он заботился», и эта классовость, конечно, еще более усиливает социальную значимость произведения.

Поэма состоит из трех частей: первая говорит о возникновении и росте рабочего класса, о противоречиях капиталистического строя, о рождении «по всему этому» (т.-е. этим подготовленному) в городе Симбирске обыкновенного мальчика—Ленина. Вторая часть рисует события русского рабочего движения, февральской и Октябрьской революции, нэпа, и во весь гигантский рост—Ильича-организатора, носящего «в черепе людей до миллиарда полутора». Тема третьей части—смерть Ильича, смерть, которая ни перед кем «не умеет извиняться», но оказавшаяся в этом случае только величайшим коммунистическим организатором жизни, призывом к активности новых масс рабочего класса. Стих поэмы в совершенстве отчеканен, отшлифован, насыщен, не имеет ни одного пустого слова. Многие фразы (тут и уроки политграмоты, и характеристики политических деятелей) запоминаются, как алгебраические формулы, напр.: «Капитализм в молодые годы был ничего, деловой парнишка»; 1905 год—«школа первой ступени в грозе и буре грядущих восстаний»; в февральскую революцию «мы, как докуранный окуроч, бросили их династию». Вот характеристика Керенского:

«Премьер—
не власть—
вышивание гладью.
Это
тебе
не грубый Нарком.
Прямо девушка—
иди и гладь ее.
Истерики закатывает,
поет тенорком...».

Примеров можно привести бесконечное количество. Особенно сильные впечатления производят картины Октябрьской революции (из 2